

П О Э З И Я

Сергей Магид

РЕФЛЕКСИИ И ДЕРЕВЬЯ

Часть III

ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО : МОНОЛОГ

Родился в 1947 году в Ленинграде. Учился на отделении английской филологии Ленинградского университета.

Первая книга стихов (1970-1976) /частично: "Острова". 1982/

Вторая книга стихов (1976-1981) /частично: "Острова",

"Круг" (Л. 1985), "Обводный канал" № 1/

Окраина (1981-1983) /частично: "Круг", "Часы" № 40/

Стихи висюсного года (1983-1984) /частично: "Часы"

№№ 47, 60, "Предлог" № 2/

В зеркалах (1985)

Домашняя мифология (1985)

Рефлексии и леревья (1986): 1. Перечень повторений.

2. Остановка в стиле брейк-лаун. 3. Осеннее дерево:

монолог /полностью публикуется в настоящем номере/

Переводы:

Из американской поэзии: К. Кулидж /"Часы" № 44,

"Предлог" № 1, перепечатано: "Часы" № 59/

Из литовской поэзии: Лонелайтис, Йонинас /"Литва

литературная" 1980 № 3/, Гяда и Патацкас

/ "Предлог" № 2, перепечатано: "Часы" № 59/

Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне.

Пс.30,10.

Из глины слеплено, из пустяков землицы,  
Из прихотей воды, из пятен крови,  
из гомона базарного, из воплей жертвы,  
из её молчанья.

Сколько угодно  
можем повторять  
и слушать небылицы  
о нас самих.

Но голая реальность – трёх цветов :  
черный и белый, серый в середине.  
Он тень отбрасывает в обе стороны.  
То, что в одеждах, – только Майя,  
великая самозащита сердца  
от ужасов, от пустоты под боком.  
Лишь дух всё обнажает вновь.  
Именно за это – обожествлён и ненавидим.  
Есть вещи, о которых не скажешь в строчечку.  
Есть вещи, о которых  
не скажешь.

Гармония не в рифме, не в душе, не в опыте.  
Гармония в последней наготе.  
Когда её ты чувствуешь – ( а увидеть нельзя,  
запомни и смиришься ),  
ты чувствуешь пляску беспощадного апреля.  
Апрель, беспощадный месяц, как уже сказано.  
Он обнажает всё.

Утренний холод. Пустое небо.  
Ледок во дворе.  
От одинокого пробужденья до вечера  
бесконечность  
поступков, слов, памяти, пустого неба,  
под которым жизнь твоя  
проходит  
в поисках полноты.

Но чем же, чем  
заполнить  
это бездонное Нечто  
в маске заморозка весеннего,  
с лицом куста беззащитного, летящего,  
с запахом како-то ма-лости никчёмной, детской, щемящей сердце.  
(Но лишь запах и помнишь).

Что же, что  
под личинами  
этой игры каждодневной, за песенкой утренника,  
за подглядываньями глазёнок, мордочек...

Жизнь предлагается по криллице,  
дым в завитках бараньих,  
взвешенный с облаками, с голубем промозглым  
над Московской заставой, у Ворот Иштар, вечно раскрытых,  
черепаший панцырь брусчатки меж сытых рельсов,  
шуршанье шершавой, в жёлтых улитках, тропки  
по двору, что лицо пугливо заслонил листопадом, —  
терпкая плоть четырёхлетней жизни,  
острым ремнём перехлёстнутая ветра и ожидания, и ветра  
на углах площади, распоровших судьбы мешковину  
для всех, кто кануть готов в лёгкую постепенную Лету.  
Хватит с меня.

Я остановился.

Нет больше гор и ущелий в дыму бараньем.

Мы остались с тобой вчетвером посредине  
ужасной как первое непониманье,  
земли под мышкой у неба.

Дай руку.

Мне хватит

и этих дрожащих пальцев.

Я не раб галерный. Горизонт не щель между бегством и бегством.  
Ничего не кончается.

Только в пустыню войдя по колено, вспоминаешь дом —  
за барханами, за змеями зноя, за зудящей по мозгу  
однотонной тонкой тростью звенящего отупенья,  
в отрепьях изгнанника,  
войдя по пояс в песок, в вязкую плоскую пасту,  
вспоминаешь дом, рельсы, асфальта плач под ногами, —

всё , что дом, всё, что забыть бы, да не дал Бог и  
вот продолжается наше сорокалетье, сороконожье, сорокодушье в  
пустыне  
сорока сороков осыпающихся спусков в Тартар.  
Дым в завитках бараньих,  
дождь, капли,  
мне хватит и этого.  
Хватит о меня,  
дай руку, может, ещё...

Не удаляйся от меня ; ибо скорбь близка, а помодника нет.  
Пс.21,12.

Ладони воздуха ласковы и легки,  
лицо поглаживая поступи в такт.  
Гор фиолетовые языки  
вылизывают закат.  
Небо блеклое - выгоревший брезент,  
стёртый и тесный,  
месяц как выхолодевший безмен  
натягивает отвесно.  
Прекрасное одиночество, ясность,  
орешник, камешки под ногой,  
безвестность,  
истинная опасность,  
покой.  
Безместность:  
здесь - везде и нигде.  
Ветерок в бороде.  
Чуждость.  
Кадами пересечённая местность.  
День - о воде.  
Ночь - о заре.  
Лишь вечер прост на земле,  
как звонница вымахивая в воздух,  
там гулы разминает в полумгле  
мгновенных сумерек.  
Лишь вечер создан  
для одиночества,

для отрочества в Тебе,  
единственном как вечер Господине,  
Кто горы движет при ходьбе  
как пыль песчаную в пустыне, —  
мгнущийся мираж  
далёких гор.  
Весь крымский вечер — воздух, разговор,  
где с сумеречных гор  
безмолвием сползает в Узул-Тал  
тоска о сыне.

Но я не смыслю ровно ничего  
в каракулях судьбы,  
набросанных и вкривь и наобум  
на моментальных снимках этих вёсен,  
калящих внезапно  
как в башмаке оса,  
но насмерть.

Вспышка жизни  
проявлена, пожалуй, дилетантом:  
поступок, слово, взгляд —  
всё смешано.

А зря.

К тому ж во всём  
душа не в фокусе  
и негатив сознанья  
звучит совсем не так.  
Совсем иначе  
смотрела жизнь на бронзовое солнце  
в вечерних окнах,  
и бывало всё ж,  
хотя и редко, но такое чувство,  
как будто ты летишь, летишь, летишь  
и не проснуться,  
и не встать ногами  
на мостовую с привкусом отчанья,  
а надо встать.

И где-нибудь в четыре  
часа утра

всё застывало вдруг,

всё застывало сразу и внезапно  
как на старинном фото:  
бровь, рука,  
покой патриархальный и зевота,  
едва удержанная,  
до поры, пока.  
Пока и как бы в щель  
меж забытьём и бредом  
протискивалось что-то, набухало  
в полурассветной комнате,  
и миг  
ты жил в таком отчётливом сознании,  
в таком расчерченном и точном чертеже  
всего, что есть вокруг,  
настолько ясно  
предождая истинность игры,  
ведущейся не по твоим законам,  
и красоту её и вековечный лад,  
и Сына Божьего  
тяжелый взгляд,  
что...

Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве,  
чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.

Пс.10,2.

нет не огонь земли в скорлупе из дёрна  
дремлющий как дракон за городскими воротами  
и не вода небес без примеси стронция  
ледяная как изумление перед глотком последним  
и не ветер вдоль набережной когда еще в детстве  
она спасала тебя одиночеством целомудренного раздумья

нет только не это теперь уж не это  
и не книга о глубинной бесконечной  
куда падал камень сердца не достигая дна  
лишь набухая в полёте упорством паденья  
теперь не это с этим покончено навсегда  
о если б если бы губ касанье  
Вот и Литва,  
размытая еврейством,  
полонизация, русификация, Арунас,  
Адомас, Сауляс, Мотеко,  
библейства и шаманства мешанина,  
атминк ка пожд'еяй Дьевуй. Помни,  
что Богю обещал, и Лилиана  
из Аргентины катит на Алтай  
по зову Родины, минуя Шяуляй,  
а так хотелось  
ещё отцу увидеть этот край,  
литовский рай,  
каким он снился деду  
в Буэнос-Айресе,  
уже  
вокруг Россия-матушка, праматерь,  
праба, прабя балтийских языков,  
и ей в кильватер  
у пшеков забранный родной хохляцкий Львов у литваков,  
а что у литваков?  
Алтай, рудник, колючка, нары,  
паёк, сарай и рай почти что даром,  
атминк, атминк, атминк ка пожд'еяй,  
ка пожд'еяй, что ты обещал?  
Кому?  
Давно  
как лишнего лишенца,  
как в руднике табак и полотенце  
Его отправили на самый верх.  
Гора Рамбинас.  
Сыр Рамбинас.  
Смех  
и вспоминать, и думать о горё  
на дне.

О сыре — смех вдвойне.  
Как на войне  
космополит суров,  
и на любом из аргентинских языков  
уже готов, хоть на Алтае, но Литву предать,  
и не раскаясь,  
назад слинять  
в родной Буэнос — Айрес.  
Ах, Лилиана, а Литва размыта  
таким еврейством,  
да ещё и я  
свалился на тебя из Петербурга.  
Такая вот, прости, марихуана,  
о Литвуана !

Нет ни вестей, ни слухов. Ничего  
не говорит о сыне. Под запретом  
не только имя, но и след о нём.  
Как будто море разорвало  
ещё на том пути его трирему,  
и ни обломка, ни волны, ни вскрика.  
Штиль в космосе моём.  
Сытые боги  
молчат как пси, забившись в конуру,  
урвав кусок с хозяйского застолья,  
пока никто не видел.  
Мёртвый сын.  
Как это выглядит ?

Свет в сердце моем, свет.

Ничего  
не могу с этим поделать. Но раньше  
было не так.

В случайном намеке, в запальчивости чужой  
орыв тайноя, пропасть,  
куда я падал годами, падал

"Не может быть, чтоб этот сгусток мяса"

годами — а сколько  
каждому из вас нужно времени  
чтоб привыкнуть к паденью,

"растаял"  
чтоб это стало законом

"сгинул, изошел росой"

дня, судьбы, всего, что длится — сколько?

"Я"

Один вечер — с познавшим крайнюю истину,  
в очередь за которой ты не впущен, не взят ?

"схвачу"

Или утро — величиной с иудину язву  
в растерянной двенадцатиперстке ?

"судьбу"

Или мгновенье зрачка скользящего, — о свет мой, свет очей моих!  
но мимо  
лица твоего, мимо всерьез, навсегда,  
мимо сердца, где тьма, — о где же ты, свет сердца моего!?

" за глотку"

Или весь, отпущенный вам отрезок  
длинно в квартал,  
где случайно родился, зачем-то дышал,  
выигрывал у Боба в бабки, потом на баб тырил у бабки,  
потом делал крутые бабки бабе на тряпки,  
потом отбубнил бабе лялю,  
потом полилось — башлял,  
еще башлял, бузил, больше башлял, блядовал,  
снова бузил, меньше башлял, блядовать устал,  
больше бузил,  
однажды переборшил,  
на последнюю бабу перебашлял,  
перекурил, переподдал  
да и отдал  
Господу на халяву —  
то есть Богу  
/или Бобу?/  
дал

дуба  
души вместо,  
не доеба...  
И вся-то наша жизнь есть труба,—  
помянем доходягу,  
он был мужик, что надо,  
как "Хайль Гитлер!" успевал до семи,  
помянем купчинского Екклезиаста —  
баста!?

"Жизнь немного стоит  
в сравнении с делом"

Не привык.

"Жизнь меня размывает", — сказал приятель.

Да, его совесть размыта.

Но свет,  
свет в сердце моём.

Да, это я — Гризли Адамс из штатского боевика "Легенда о дикой при-  
роде", спасающий всех за бесплатно. 1932

Другим

быть не хочу.

А жизнь размывает, и вспухший гребень ее  
беспопаден

как опухоль.

И я люблю вас всех.

Когда-то в Городе отец мой  
/он был моложе, чем я сейчас/  
увидел толпу перед булочной.

Директор пускал блатняков с черного входа.

Это было тогда, помните?

Между Хиросимой и Делом врачей.

Отец мой блуждал между Харбином и Магидом  
/а у него была другая фамилия — мне она не досталась/  
и дошел-таки до послевоенной Литовки,  
что стояла в привычном оцепенении  
перед Храмом

Насущного Хлеба.

/Да, я забыл вам сказать, — отец мой  
не знал до тринадцати лет  
другого языка, кроме идиша,  
и языка Книги по субботам и в Йом-кипур,  
пока в праздник бармицва  
старшая сестра не отвела его за руку  
к филистимлянам.

Нет, отец мой не разрушил дом их,

ослепнув,

нет, он был отходчив и добр,  
и считал, что прозрел,  
и считал, что ему повезло,  
и уверовал,

и ни к чему

говорить о том, как он мучился перед смертью  
в попытках вернуться назад,  
на Полтавщину,  
где все они были так счастливы  
в своем языке, со свистком Торы над дверью,  
и со своим Единственным Богом,

жестоким израильтянином,  
который приходит ко мне по ночам,  
                                вопрошая.

вопроса,

А имя я получил тогда, Ты вспомни,  
Между Делом врачей и Хиросимой.  
И я — это я, просто я, язык,  
в котором я вырос, и я прощу Тебя, Бог мой,  
не мучай меня по ночам, я устал,  
я не хочу возвращения,  
я — парень с Лиговки, Боже,  
где отец мой стоял  
у входа в булочную, в толпе,  
среди людей, ожидающих хлеба,  
не Твоего ли, Господь ?  
Ожидающих чуда,  
не Твоего ли, Господь ?  
И Ты послал им отца, и хватит  
задавать вопросы.  
На все отвечено./

И ОН НИЧЕГО  
НЕ МОГ С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ.

стала размывать его.

Он умер.

И будет он, как дерево , посаженное при потоках вод,  
который плод свой дает во время свое ,  
и которого лист не вянет.

Пс. I, 3.

На мутном севере, где осень как душа,  
где осень душа как дерево томится,  
где юмор хмур и сдержанность в народе,  
когда как осень ветвь ещё свежа,  
а крона как душа уже двоится,  
когда все вещи вдоль и поперек  
прошиты шорохом, и ночь на небосводе  
распахнута как дом, где бродит тишина, —  
что думает тогда усталый Бог  
о дереве, чья исповедь слышна  
как танго на туристском пароходе.

О дереве, которым был и ты,  
и станешь снова — иудей и варвар,  
сосна в смоковнице — срастаются черты,  
стираются копыта у кентавра,  
и звезды желтые вплетаются в кресты,  
и жёлты звёзды вкрестаются в плеты.  
Из жирной осени родится голос в мир,  
из жирной осени родится лишь ангина,  
ангина — речь твоя, любимая чужбина,  
где гланды пеонь поет, пока ты чист и сир.

А наверху, где лист ложится в реку,  
где небо сонное, где частый звездопад,  
какие боги там — какому греку  
о брошенной Итаке говорят ?  
Всё прорвано в тебе — и Эзра и Гомер,  
и Тибр у Боруха, и Грах у Иордана,  
и в сердце брешь, и в небесах пролом,  
поднимешь голову — во всём один размер.  
И дереву ты говоришь : "Осанна!"  
И дерево тебе молчит : "Шолом..."

Если ополчится против меня полк, не убоятся сердце мое ;  
если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.  
Пс.26,3.

Бытия не ждут.  
Его месят как тесто,  
в поте души.  
Судьба — не ладонь  
стоящего на коленях у входа в молельню.  
Мелкое доньшко, дрожащее от желанья жить.  
Стыдливое неглиже тоски,  
тёплой как кролик перед закланьем.

Но разве жизнь — это Господня трапеза  
с подливкой из жалоб,  
о перчиком жалости  
к собственному больному ребру ?

И не будет случайного благодеянья,  
ни великой подачки, ни милости  
от уставшего Бога.

Ибо Господин наш — в отчаяньи.

Но будет день для скрученных рук,  
Новая ночь для бессоницы,  
ночь без любимой,  
ночь без Любви,  
когда унынье разъедает кожу  
и шорохи ночи  
веником выметает утро  
в совок смерти.

И Господин наш локтем закроет лицо Своё  
и отвернётся в мутных слезах дождя,  
и горячий Свой лоб погрузит  
в равнодушный залив, пресный как душа Господина.  
И лопнет, как перетёртый потом солдатский ремень,  
терпенье сторожа, и он возопит  
на весь остров своей надежды,  
забитый очередями в часы пик  
и абсолютно необитаемый :  
где же ты, где горячая жилка  
на запрокинутой шее,  
о! выпить его, высосать весь этот жар  
единственной, заживо не сохранный жизни,  
переполниться ею,  
ею наполниться — как пожаром  
бразильский отель со случайными постояльцами,  
и взлететь, вскинуться языком пламени,  
сжигая тебя, жизнь моя, любовь моя,  
Феникс мой, с глазами, полными пепла,  
полными жалости к нам, неразумным поэтам,  
ценящим Слово превыше тебя, о любовь моя,  
преступная Любовь моя, жаркое для Господа  
с приправой из одиночества,  
чья губы — проволока под током.  
Помните, как трясёт  
от их случайного прикосновенья ?  
  
Хоть ради этого,  
лишь ради этого простого воспоминанья

никогда ничего не просите.  
Будьте мужчинами, если больше никем  
не позволено быть.  
Ваша последняя женщина — это свобода.

Жизнь — важнее сознания жизни :  
вот наше великое воровство  
у тех, кто пытался начать  
то, что не подлежит начинанью,  
то, что даётся  
сразу и до конца.

Так десантник, прыгая в центр сраженья,  
под круговой попадает обстрел  
ещё в воздухе, братья, ещё в воздухе,  
что уж там говорить о земле,  
о единственной нашей земле,  
где быть мужчиной или быть женщиной —  
значит быть камикадзе Господа.  
Ваши руки, братья, — будем мужчинами.

Там, за горизонтом этой резни  
ждёт каждого его последняя женщина.  
Не бойся жизни, любовь моя,  
не бойся любви.  
Видишь, я не боюсь ни того, ни другого.  
Бытия не боюсь. И смерть старомодна как паперть,  
где Бог просит милостыню у нищих.  
Милостыню молитвы подадим Ему, братья.  
Ведь мы богаты судьбой.  
Будем думать о Ближнем, которому так одиноко без нас.  
Что нам стоит  
кусочек души оторвать от кровоточащего ломтя,  
если Господу не хватает как раз его,  
одного лишь нашего сердца, одинокого  
одинокого нашего сердца,  
сердца нашей любви.

Нет, не ждут Бытия.  
Не окликают по имени  
как сидящего у глубокой воды,  
не убеждают, сославшись на Книгу,

что бить лежачего — не всегда разумно,  
не доказывают  
укоризненным шепотом,  
что кроме Родины — есть ещё совесть.

Его зачинают как родное дитя,  
единеньем духа и плоти,  
болью своей,  
светом души,  
в сокровенном и горьком подчас  
одиночестве страсти.

Редкий дар — напряженность,  
Рассудок — бесплодное семя.  
Страшнее всего — пустота  
чистой возможности, равновесье  
изяжных пауз  
в обвалах метафоропода,  
торжествующий фонд словарный,  
наша вечная гордость,  
горацианский покой  
нерукотворный —  
ни сердца, ни мускулов,  
междужизнь близсмертья,  
труха,  
божьи коровки без вымени,  
где молоко для сына,  
молоко Господа?

Лишь бормотанье листы  
по окраинам парка,  
по деревянным забытым скамейкам,  
где азбукой мира  
одинокой,  
единственной азбукой мира  
процарапаны инициалы времён :  
так любящие заслониться пытались  
от вечного не-бытия :  
игрек плюс зет минус Альфа равняется точке ;  
и нет кругов по воде.

Воронка парка.  
Вороны.

Не ждут Бытия,  
Судьба — не ладонь безногого,  
куда швыряют подачкой  
день для дыхания, ночь без любимой,  
без единственной...  
Жизнь не выпрашивают — запомните.  
Разве солнце кто-нибудь дарит нам ?  
И свет дождей над заливом — он все-таки твой,  
пусть горизонт как колючка  
обвил твоё горло.

Победы не будет.  
Ведь мы сильны.  
Только жизнь и дыхание брата,  
и горизонт, за которым...  
И жизнь — навсегда.

Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду,  
и не будет меня.

Пс.38,14.

Смотри на осеннее дерево.  
Ах, и отец мой  
пытался его увидеть.

весна — осень 1986